ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

10

2011

SHOUT
SHARE
IT

- Александр Жолковский. Единый принцип и другие виньетки
  - Чему вас учут?!
  - Stranger than fiction[1]
  - Privacy and its discontents[2]
  - Единый принцип
  - Коэффициент гибкости
  - Грозный, но не terrible
  - Красота по-американски — трудности перевода
  - Из истории звукозаписи
  - Неизданный Вознесенский
  - Имя-отчество как таковое
  - Напрасно вы тогда…
  - Table talk
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

Александр Жолковский. Единый принцип и другие виньетки

Чему вас учут?!

Наряду с хрестоматийными apte dicta запоминаются и словечки, сказанные кем-то невеликим в простоте душевной.

— I have my Dickens, «У меня есть мой Диккенс» (о ненужности новых книг; 1960-е годы).

— Зачем еще ангина, если уже есть грипп? (о болезнях детей; 1960-е).

— Вот так, значит, нас, трудящихся?! (о подорожании сигарет; 1970-е).

— За-будь-те э-то сло-во!.. (замсекретаря парткома в ответ на просьбу выдать характеристику «в рабочем порядке»; 1970-е).

— Ракообразные!., (о новом местечке с seafood; 1980-е).

— И ученики потянулись за учителем? (было как раз наоборот; 1990-е).

— Ну ты, эта, смари, шоб в самолет кто не зашел! (напутствие перед рейсом; 2000-е).

А на днях всплыло нечто из чуть ли не 40-х: «Образ Ольги не совсем удался Пушкину». Это написал в школьном сочинении какой-то ученик, видимо, 8-го класса (мне рассказал его одноклассник). Гнев учительницы не имел границ:

— Что ты пишешь?! «Образ Ольги не совсем удался Пушкину»! Чему вас учут? Разве вас учут, что не удался?! Вас учут, что удался!.. Двойка!!.

Как у этого демифологизатора получился такой маленький шедевр, мы не знаем и уже не узнаем. Наверно, сказалось очевидное предпочтение, отдаваемое Онегиным, да и самим Пушкиным, Татьяне, но откуда взялась эта зрелая, в целом сочувственная, но добросовестно, по-аптекарски, дозированная в своей объективности интонация? Просочилась из разговоров взрослых? Из слов той же учительницы о каком-нибудь менее бесспорном авторе? «Образ Стародума не совсем удался Фонвизину»? «Образ Софьи не совсем удался Грибоедову»?

Так или иначе, фраза хороша, а еще лучше она по контрасту с истеричной реакцией преподавательницы литературы, от которой ожидалось бы нечто более взвешенное.

По контрасту, который и не дает этому диалогу уйти в прошлое. Ведь счеты у нас сегодня не с классиками (они — какие есть, такие и есть), а с их блюстителями, то исступленно топающими на каждое «не совсем» ногами, то насупленно его замалчивающими. Дело не в Ольге, а в том, что образ Пушкина (Хлебникова, Ахматовой…) не совсем — или чересчур? — удался литературному истеблишменту.

Stranger than fiction [1]

Есть мнение, что все давно написано, так что ничего нового сочинять не надо, можно расслабиться и наслаждаться имеющимся. Если же руки очень чешутся — заняться монтажом наличных текстов, а еще лучше — их сокращением. Последнее не только избавляет читателя от излишних, как выражался Толстой, авторских элукубраций (вспомним «конспективную лирику» Гаспарова), но может давать и собственный — остраняющий — эффект.

Разбирая с американскими первокурсниками «Легкое дыхание», я, среди прочего, подчеркивал его отличие от многословного «Гранатового браслета». Почти всем купринский рассказ понравился гораздо больше бунинского, и тогда в число возможных домашних заданий я включил вольное упражнение: вырезать из текста Куприна и склеить в единое повествование ровно столько текста, сколько у Бунина. За это взялся всего один студент — и удивил меня. Я думал, что он облегчит повествование не только количественно, но и качественно, — сделает из него нечто подобное бунинскому. Он же, наоборот, отобрал все самое мелодраматичное и озаглавил соответственно: Heavy Panting («Тяжелое пыхтение»). Я, конечно, поставил ему A plus (пять с плюсом), но его сочинения не сохранил, а жаль.

Текст, к которому я собираюсь приступить с монтажными ножницами, хорош уже сам по себе, причем не вымышлен, то есть и сочинен-то лишь отчасти. Но ради придания ему дальнейшей краткости, а заодно некоторой загадочности я позволяю себе кое-что опускать, в частности заменять имена и фамилии инициалами и даже слегка редактировать. Итак:

Иногда к папе приезжали гости. Большей частью это бывали умные люди, с которыми он говорил о серьезных вопросах, нам, детям, недоступных.

К П. Ф. мы были довольно равнодушны. Раз только мы приняли очень живое участие в папином споре с ним — по поводу резвости скаковых лошадей. Папа утверждал, что степные лошади не менее резвы, чем английские, П. Ф. же с презрением отрицал это.

Тогда папа предложил ему побиться об заклад. Папа должен был пустить скакать свою степную лошадь, а П. Ф. — свою английскую. Мы, разумеется, всей душой стояли на стороне папы, но, к большому нашему огорчению, принадлежавший П. Ф. англичанин блестяще обскакал нашего степняка.

А. А. мы не особенно любили. Нам не нравилась его наружность: маленькие, резкие черные глаза без ресниц, с красными

веками, большой крючковатый сизый нос, крошечные, точно игрушечные, выхоленные белые ручки с длинными ногтями, такие же крошечные ножки, обутые в маленькие, точно женские, прюнелевые ботинки; большой живот, лысая голова — все это было непривлекательно. Кроме того, он имел привычку очень тянуть слова и между словами мычать. Иногда он начинал рассказывать что-нибудь, что должно было быть смешным, и так долго тянул, так часто прерывал свою речь мычанием, что терпения недоставало дослушать его, и в конце концов рассказ выходил совсем не смешным.

Мои родители очень любили его. Мы недоумевали и даже раз дружно посмеялись над почтенным А. А. Как-то вечером мы, дети, сидели в зале за отдельным столиком и что-то клеили, а «большие» пили чай и разговаривали. До нас доносились слова А. А., рассказывающего своим тягучим голосом о том, какие у него скромные вкусы и как легко он может довольствоваться очень малым.

— Дайте мне хороших щей и горшок гречневой каши… ммммммм… и больше ничего… Дайте мне хороший кусок мяса… ммммм… и больше ничего… Дайте мне… ммммм… хорошую постель… и больше ничего.

И долго, мыча в промежутках между своей речью, А. А. перечислял все необходимые для его благополучия предметы, а мы, сидя за своим отдельным столиком, подталкивали друг друга под локоть и, сдерживая душивший нас смех, шепотом добавляли от себя еще разные необходимые потребности.

— И дайте мне по коробке конфет в день — и больше ничего, — шептал мой брат, захлебываясь от смеха.

— И дайте мне хорошей зернистой икры и бутылку шампанского — и больше ничего, — подхватывала я тоже шепотом.

С А. А. приезжала его жена — милая, добрая М. П. Ее мы любили гораздо больше, чем ее знаменитого мужа.

Но не все гости папы были умные и спорили с ним о высоких, непонятных нам, предметах. К нему езжал еще наш сосед Н., с которым разговоры были всегда более простые и нам доступные. За это ли или за то, что Н. обращал на меня внимание, я его очень любила. Он был молодой, красивый и веселый. Когда он приезжал к нам, я всегда, когда могла, сидела в гостиной с «большими», и слушала его, и смотрела на него.

Раз как-то Н. был у нас в гостях и мы все вместе сидели в гостиной. Был вечер, и в назначенный для нашего спанья час Х. увела меня в детскую. Мне было очень горько расставаться с Н., но делать было нечего, ослушаться нельзя было.

Вымывши в ванне брата, Х. по старшинству посадила после него меня. Намыливши мне голову, она на минутку отошла, чтобы достать кувшин чистой воды для окатывания. Вдруг мне мелькнула смелая мысль. Я воспользовалась тем, что Х. отвернулась от меня, и с быстротой молнии выскочила из ванны. Стремглав, как была, помчалась я в гостиную, оставляя после себя на полу следы мокрых ступней.

В гостиной я остановилась посреди комнаты перед Н. и, торжественно разведя руками, проговорила:

— Вот она, Таня!

Не знаю, что он подумал, увидя перед собой голенькую фигуру с стекавшей с нее водой и с мылом, торчащим в виде битых сливок на голове, но я знаю, что мама пришла в ужас и отчаяние и, схватив меня в охапку, снесла к Х. Та уже хватилась меня и по мокрому следу бежала за мной.

— Боже мой! Что выйдет из этой девочки? — в ужасе говорила мама…

Как-то мы все трое заболели скарлатиной. Один брат был легко болен, другой сильнее, а я чуть не умерла. Мама рассказывала, что я несколько дней была в бессознательном состоянии и все боялись, что я не вынесу болезни.

Помню, как стало мне полегче. Я лежу в своей кроватке и испытываю чувство блаженства. Братья тоже оба в постели. Приходит папа и садится около меня.

— Ну что. Чурка? Все притворяешься, что больна? — говорит он. Он смотрит на меня с нежностью, и я чувствую, что сейчас можно просить у него все, что угодно. Но мне просить нечего. Я беру его большую сильную сухую руку в свою и снимаю с его безымянного пальца его обручальное кольцо. Он мне этого не запрещает, а продолжает смотреть на меня с нежной улыбкой. Я играю кольцом, пока оно не выскальзывает у меня из руки и не закатывается так далеко, что никто не может его найти. А папа меня за это не упрекает и терпеливо ждет, пока А. М. ищет кольцо в какой-то щелке под кроватью.

Таня — девочка явно инициативная, за словом, да и делом, в карман не лезет. В одном эпизоде она мастерски пародирует гостя, любимого и почитаемого родителями. В другом она, шести-семилетняя, исполняет эксгибиционистский номер, достойный пера Набокова. В третьем символически разводит отца с матерью, недаром уже задавшейся вопросом, что из нее выйдет.

Сюжет заиграет еще более яркими красками, если знать, кто его участники. Рассказчица — Татьяна Львовна Сухотина-Толстая (1864–1950), воспоминания которой были опубликованы в России лишь четверть века спустя после ее смерти в эмиграции (в Риме).

Дело происходит году в 1870-м.

Папа, то есть не просто папа, а папА, — это Лев Николаевич Толстой. П. Ф, выигрывающий у него пари, поставив на свою импортную лошадь против его отечественной, — Петр Федорович Самарин, тульский помещик, член известной семьи славянофилов.

Жидоватый зануда А. А. — это Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин), а М. П. — Мария Петровна Фет (ур. Боткина). Фета рассказчица и в дальнейшем сможет разве что уважать — соответствующее место читается так: «…выросши, я полюбила истинное поэтическое дарование Афанасья Афанасьевича и научилась ценить его широкий ум». Кстати, как показывают новейшие исследования, еврейской крови в нем вроде бы не было ни капли.

Н. — Николенька (Николай Владимирович) Арсеньев, владелец соседнего имения; он старше влюбленной в него Тани почти на 20 лет. Х. — Ханна Егоровна Терсей (Tersey), любимая англичанка-воспитательница; в дальнейшем она выйдет замуж за грузина, как водится, князя (Д. Г. Мачутадзе). А. М. — Агафья Михайловна (1808–1896), старая горничная П. Н. Толстой, бабки Л. Н., жившая при нем в Ясной Поляне.

Братья рассказчицы — это, конечно, Сергей (старше ее на год) и Илья (младше на два года), а мама — мамА — Софья Андреевна Толстая (ур. Берс). Колечко найдется, инцеста не произойдет, но совместная жизнь родителей, да и детей, будет непростой.

Privacy and its discontents [2]

Более страстного адепта этого невыразимого по-русски состояния, чем мой ныне покойный соавтор[3], я не встречал. Впрочем, и тут он был непредсказуем.

На вопрос, куда он пропал, почему не появляется, как будет с совместной работой, он мог ответить:

— Алик, *я упиваюсь privacy!*..

Это притом — а может быть, потому, — что вырос он в коммунальной квартире. Они с отцом и матерью жили в двух больших комнатах, а еще две занимали соседи, по национальности таты. Насколько я мог судить, в квартире царил мир, не исключено, что худой, но он был явно лучше той ссоры, которая разразилась после Юриной женитьбы.

Его покойная мама, видимо, держалась тихо, папа вообще редко бывал дома, Лера же, нервная и с характером, вскоре столкнулась с соседями на узкой дорожке, и встал вопрос о переезде. А через некоторое время наметился и пункт назначения — подмосковный город Видное (станция Расторгуево), где за две московские комнаты можно было выменять отдельную квартиру.

Когда Юра поделился со мной этими планами, я заговорил о неразумности потери московской прописки. На допрос с пристрастием, зачем в точности она нужна, я толком ответить не смог и упирал на неисповедимость ее достоинств, подобных дворянскому. Эта аргументация действия не возымела, тем более что Юра уже настроился на загородное privacy и близость к природе.

Они переехали в отдельную квартиру в небольшом кирпичном доме, где и прожили, не без драм, лет семь. А потом все-таки опять поменялись и поселились на Садовом кольце — в коммуналке.

При случае я спросил Юру, как ему живется с соседями после отдельной квартиры, и услышал, что хорошо. Но, наверно, утром приходится ждать очереди в туалет? Или у вас расписание? — продолжал ехидствовать я. Да нет, отвечал Юра, эти ужасы преувеличены. И вообще, приятно: соседи такие милые люди, утром настроение тяжелое, выходишь с полотенцем в ванную, а тебе кланяются: «Здравствуйте, Юрий Константинович!»

Поминать о privacy язык у меня не повернулся.

Задумываясь теперь о характере этой непоследовательности, я вспоминаю, что рьяно отгораживавшийся от ближайших коллег и знакомых Юра был практически беззащитен против посягновений определенного рода посторонних. Так, в Москве он

поддавался на предложения цыган погадать и, естественно, оставался внакладе. В Италии жулики выманивали у него деньги прямо на улице, чему способствовало его владение итальянским, каковое они с искренней благодарностью расхваливали. А в Париже развернулась уморительная история с посещением публичного дома и заказом бутылки шампанского за совершенно астрономическую цену, хотя включенная в нее petite folie осталась невостребованной.

Я помню, как в далекой шестидесятнической молодости в Библиотеке иностранной литературы (еще на улице Разина) Юра подолгу беседовал с полусумасшедшей старухой в сползающих чулках, — до сих пор помню даже ее имя, отчество и водевильно значащую фамилию. Ее звали Александра Абрамовна Жебрак. Zebrak — по-польски «нищий», и даже грамматический мужской род кажется мне эмблематичным в случае этого на редкость отталкивающего существа вне пола и возраста. Юра красноречиво жаловался на приставучесть бестолковой Александры Абрамовны, но делал это с непонятной двусмысленной улыбкой. Однажды он даже побывал у нее в гостях.

То ли ему льстило их внимание, то ли был тут какой-то особый сдвиг, но на этих странных посторонних privacy не распространялось. На меня распространялось, а на них — нет.

Единый принцип

О структурном секторе Института славяноведения Юра Щеглов высказывался строго. Он говорил[4], что хотя ориентируются они на все модное и западное — что сказал Исаченко, что написали Леви-Стросс и Дюмезиль, — их собственный структурализм носит, в общем, довольно-таки топорный, отечественный характер.

— У них только Зализняк такая тонкая, заграничная штучка, — говорил он.

Как-то мы с ним были в гостях у Сегала и я все просил Диму рассказать, что нового в лингвистическом мире.

— Ну расскажи, Дима, что происходит у вас в секторе.

Дима отнекивался, молчал. Юра сказал:

— Ах, Алик, что у них может происходить? Происходит в других местах, у них обсуждается.

Юра редко бывал в курсе того, кто на ком женат. Если в ходе разговора он вдруг улавливал, что такие-то являются супружеской парой, он очень удивлялся и просил срочно проинформировать его о гражданском состоянии остальных общих знакомых. Как-то раз мне пришлось в один прием сообщить ему о целой серии новейших изменений в этой области среди славяноведов.

— Ах, — сказал он, — как это у них все однообразно, все одно и то же. Во всем этом виден какой-то единый принцип.

— Позволь, где же тут единый принцип, когда одна замужем за писателем, другая — за математиком, третья — за соседом по даче, та — за старым, эта — за молодым, одни здоровы, другие больны, некоторые женаты давно, одна наконец вышла замуж, а другая разошлась?

— Ну какой принцип? Какой принцип? Принцип тот, что все женаты на ком попало!..

Коэффициент гибкости

Это было скорее всего весной 1959 года — потому что поводом послужила проблема с моим распределением на работу по окончании филфака МГУ. Момент это и вообще ответственный, а мой случай к тому же осложнялся свежим выговором с занесением в личное дело по комсомольской линии (о чем я вспоминал в другом месте).

Папа подошел к делу практично — велел позвать в гости моего обожаемого и к тому времени всерьез опального (из-за дела Пастернака) научного руководителя В. В. Иванова. Мы с Ирой очень нервничали. Просить о блате, тем более великого В. В., мне казалось неудобным. Но он отнесся к приглашению просто и сказал, что придет с женой — своей очаровательной первой женой Татьяной Эдуардовной. У нас с ним был тогда и еще долго потом длился медовый месяц: он охотно принимал мои ученические восторги, я грелся в лучах его учительского расположения. Привлекало его, возможно, и знакомство с папой, видным музыковедом, о научной репутации которого и ореоле космополита-изгнанника из консерватории ждановских времен он, конечно, был осведомлен. Намечалась своего рода встреча двух отцовских фигур.

Уж не помню почему, но угощение было накрыто скромное. Своих денег у нас с Ирой фактически не было, и то ли папа выделил мало, то ли мы мало попросили, но нервничал я и по этому поводу. В. В. же был любезен, они с папой беседовали на научные темы, и прием прошел успешно. Сработал и папин стратегический замысел — В. В. не забыл вскоре поговорить обо мне с В. Ю. Розенцвейгом, и уже летом я был взят в как раз образовавшуюся Лабораторию машинного перевода.

Когда гости ушли, мы кинулись расспрашивать папу о его впечатлениях. К нашему изумлению, он отозвался о В. В. сдержанно. Мы стали наперебой повторять, какой В. В. замечательный, допытываясь, что же в нем могло не понравиться.

— Мне показалось, что у него негибкий ум.

Последовала буря протестов, но своего мнения папа не изменил. Его формулировка запомнилась и чем дальше, тем больше поражала меня неожиданной проницательностью. (Дополнительный отблеск на нее в дальнейшем бросили многочисленные публикации В. В. о параметре гибкости языка, открытом академиком Колмогоровым.)

Так же было со многими другими папиными высказываниями, которые сначала казались мне ошибочными, но

постепенно обнаруживали свою печальную справедливость. С его скептической реакцией на наш энтузиазм подписантства. С отзывом о моей очередной пассии («По-моему, типичная редакторша»). С предупреждениями, уже в постсоветскую эпоху, о скором возврате власти органов.

Известно, что в глазах детей родители с годами умнеют.

Грозный, но не terrible

Во вступительной лекции к курсу «Шедевры русской новеллистики» (три десятка рассказов в английском переводе, от «Бедной Лизы» до «Случая на станции Кречетовка») первые полчаса я уделяю беглому обзору российской истории. При всей своей общеобразовательной невинности, многие из калифорнийских первокурсников оказываются способны с ходу идентифицировать наших великих правителей, радостно подхватывая подсказку: *Peter?., the Great!.. Catherine?., the Great!.. Ivan?., the Terrible!* Ну насчет того, что у нас Петр и Екатерина обычно проходят не как Великие, а как Первый и Вторая, я не занудствую, а вот на неадекватности принятой формулы *Ivan the Terrible* — увековеченной названием эйзенштейновского фильма (среди слушателей встречаются будущие киношники) — слегка задерживаюсь.

Неадекватность очень характерная. *Terrible* значит не только «страшный, ужасающий», но и попросту «плохой, негодный». Можно, например, сказать, что погода (еда, поездка…) была *terrible* — в самом обыденном смысле, без налета трагедийности. То есть гамма значений слова *terrible* отчетливо негативна, но не целиком возвышенна.

Напротив, русское прилагательное *грозный* — и, соответственно, прозвище Ивана, объясняю я, — родственно словам гроза (в обоих значениях), *угроза, грозить*, то есть «thunderstorm», «menace», «threat», «to threaten». Его смысл неизменно серьезен, масштабен, нешуточен, но, как ни странно, объективен и, пожалуй, невольно позитивен. Даже не сулящий ничего хорошего *грозный враг* звучит вчуже уважительно. В приложении же к вождю, царю, повелителю эпитет *Грозный* теряет последние намеки на недовольство. Причем не потому, чтобы речь шла об угрозе исключительно для врагов — отнюдь нет, а потому, что «русские» (здесь мне приходится с извинениями за неполиткорректность прибегнуть к этническому стереотипу) уважают только силу, жаждут твердой руки, любят палку, считают, что раз бьет, значит, любит, и вообще, бей своих, чтобы чужие боялись.

Иными словами, *Иван Грозный* — прозвище не оскорбительное, а почтительное, хвалебное, любовное. Так что правильнее был бы перевод типа *Ivan the Terrific* — если бы terrific не утратило полностью свои «ужасные» обертоны, превратившись в сугубо восхищенную характеристику. Или, еще лучше, *Ivan the Awesome*, — если бы *awesome*, которое в литературном языке

значит «внушающий благоговейный трепет», не значило на молодежном жаргоне «отлично, потрясно, клёво, круто». Зато, продолжаю я, можно видеть, что и в английской семантике от «страха» до «восхищения» всего один шаг. Тем более — в русской, что позволяет перейти к разговору об отсутствии в России традиций плюрализма, демократии и прав человека, а там и к нынешней реставрации авторитарного режима и реабилитации Сталина — «эффективного менеджера».

Что это с руки властям предержащим, понять нетрудно. Но даже и они упирают все-таки не на свирепость менеджера (поощрявшего восхваление Ивана Грозного и запретившего его проблематизацию Эйзенштейном), а на его якобы эффективность. Но что заставляет заглатывать эту наживку тех, кому ничего хорошего от такой эффективности ждать не приходится? Неужели загадочная русская душа буквально взывает о мучениях? Или дело в «стокгольмском синдроме», согласно которому заложники перенимают мировосприятие террористов?

…Здесь я оставлю в покое своих первокурсников и обращусь к периодически занимающей меня теме — ахматовской. Но не к смерти Гумилева, не к мытарствам их сына, не к Постановлению ЦК 1946 года и не к позднейшему культу самой Ахматовой, а к относительно вегетарианскому 1925 году.

Из записей П. Н. Лукницкого (ее тогдашнего конфидента — отчасти литературного секретаря, отчасти, по-видимому, любовника и стукача):

17.07.1925 <…> Шли по Фонтанке. АА сказала, что читает Ключевского…

[Он о]чень хорошо излагает. <…> Полет мысли, талант большой, громадные знания… <…> АА восхищается Иваном Грозным — так гениально управлял государством, такую мощь создал и умел давать ее чувствовать, так организовал и т. д. Приводила примеры из истории царствования Ивана Грозного…[5]

Поразительно! В свое время я каким-то образом пропустил это место, хотя оно как нельзя лучше пригодилось бы в моей работе над жизнетворческим портретом ААА в качестве своего рода Сталина в юбке.

И любопытно, как ей удалось вычитать такое из истории Ключевского, который дает Ивану взвешенную, но в целом негативную оценку, отмечая его ученость и литературный дар, но никакой эффективности за его менеджерством не признавая?!

Однако из всех этих усилий ума и воображения царь вынес только простую, голую идею царской власти без практических выводов. <…> Увлеченный враждой и воображаемыми страхами, он упустил из виду <…> потребности государственной жизни и

не умел приладить своей отвлеченной теории к местной исторической действительности. Без этой практической разработки его возвышенная теория верховной власти превратилась в каприз личного самовластия, исказилась в орудие личной злости, безотчетного произвола. Потому стоявшие на очереди практические вопросы государственного порядка остались неразрешенными. <…> Одностороннее, себялюбивое и мнительное направление его политической мысли при его нервной возбужденности лишило его практического такта, политического глазомера, чутья действительности, и, успешно предприняв завершение государственного порядка, заложенного его предками, он незаметно для себя самого кончил тем, что поколебал самые основания этого порядка[6].

Может, Лукницкий что-то не так понял? Или она сама? А ведь культурная женщина, с раньшего, как выражался Паниковский, времени, окончившая гимназию, и отнюдь не из красных, хотя зналась как с земщиной (Гумилевым, Анрепом), так и с опричниной (Лурье, Пуниным, Лукницким)… Или она просто не до конца дочитала (царствованию Грозного у Ключевского посвящены главы 28–30, и сначала говорится о попытках благодетельных реформ)? Или дело… в некоем родстве душ — в фиксации «Анны всея Руси» на идее власти и самоотождествлении с великими властителями?

С детства затверженные <…> любимые библейские тексты и исторические примеры все отвечают на одну тему, все говорят о царской власти, о ее божественном происхождении. <…> Упорно вчитываясь в любимые тексты и бесконечно о них размышляя, Иван постепенно и незаметно создал себе из них идеальный мир, в который уходил, как Моисей на свою гору, отдыхать от житейских страхов и огорчений. Он с любовью созерцал эти величественные образы ветхозаветных избранников и помазанников Божиих — Моисея, Саула, Давида, Соломона. Но в этих образах он, как в зеркале, старался разглядеть самого себя, свою собственную царственную фигуру, уловить в них отражение своего блеска или перенести на себя самого отблеск их света и величия. Понятно, что он залюбовался собой, что его собственная особа в подобном отражении представилась ему озаренною блеском и величием, какого и не чуяли на себе его предки, простые московские князья-хозяева <…>

Важнее отрицательное значение этого царствования. Царь Иван был замечательный писатель, пожалуй, даже бойкий политический мыслитель, но он не был государственный делец[7].

Кстати, Ахматова своими владениями, — к счастью, не государственными, а сугубо литературными, — распорядилась, в

отличие от Ивана, вполне эффективно.

Красота по-американски — трудности перевода

В одном интервью (http://www.lechairn.ru/ARHIV/197/LKL.htm), когда речь зашла о «Сексе в большом городе» (которого, в отличие от «Сайн-фельда», я не переношу), я отметил странные представления американцев о женской красоте и позволил себе назвать некрасивыми Барбару Стрейзанд, Лайзу Миннелли, Гленн Клоуз и Сару Джессику Паркер. Ну за Стрейзанд, Клоуз и Паркер никто не вступился, а за Лайзу Миннелли меня в блогах сурово отчитали — в том смысле, что во дает, Лайза Миннелли ему некрасивая, можно ли после этого доверять его суждениям о литературе?! В переводе на язык анекдота: «Всю Одессу она удовлетворяет, его одного она, видите ли, не удовлетворяет!»

Разумеется, красота — дело субъективное, поскольку, выражаясь по-английски, находится в глазу наблюдателя, а что касается Лайзы Миннелли, то вопрос, может, и правда спорный. Она если и не красива, то, конечно, чертовски мила, да таково, в сущности, ее обычное амплуа.

Но знаменательно, что непризнание ее красивой воспринимается чуть ли не как святотатство. Тут, я думаю, действует харизма власти, статуса, общественного признания. Может ли она быть некрасивой, когда она звезда, лауреат, прославленная актриса?! Я, например, с детства привык считать Сталина красавцем и отделался от этого не сразу, а параллельно все удивлялся, как немцев мог завораживать Гитлер.

Уже из этих примеров ясно, что дело не в личных пристрастиях, а в институализованных вкусах — том, что Рене Жирар описал как имитационное, или подражательное, желание (mimetic desire). Кстати, на тему о красоте в глазу наблюдателя есть знаменитый ролик из старой американской серии «Сумеречная зона» (Twilight Zone). Он так и называется: «The Eye of the Beholder» (1960; http://www.youtube.com/watch?v=xHp9q3QTmVQ).

Косметическая операция тяжело переживающей свое уродство женщины заканчивается неудачно, но камера почти до самого конца не показывает лиц персонажей, и лишь в последнем кадре зритель видит, что отчаявшаяся пациентка — нормальная американская киноблондинка (актриса Донна Даглас, настоящее имя Дороти Смит; р. 1933), а доктора и медсестры — люди с полу-свиными мордами.

В чем же суть задевшего меня американского канона

«некрасивой красоты»? Тайна сия невелика есть, и она в какой-то мере уже отрефлектирована — если не впрямую, то под знаком юмора.

На церемонии вручения премий Гильдией киноактеров (Screen Actors Guild) 2009 года среди прочих награждалась — за общий вклад в кинематограф — красавица былых времен Бетти Уайт (р. 1922). Премию ей вручала Сандра Буллок (р. 1964), игравшая вместе с ней в недавнем фильме («The Proposal», 2009), и, представляя ее, она шутливо пожаловалась, что на съемках та была невыносима (annoying). На что Бетти Уайт в своей благодарственной речи сказала — и эти слова теперь часто цитируются — буквально следующее:

— With all of the wonderful things that have happened to Bullock, isn't it heartening to see how far a girl as plain as she is can go? — «Сколько замечательного произошло в жизни Буллок, и разве не умилительно видеть, как далеко может пойти простая/неказистая девушка вроде нее?»

Буллок расхохоталась в ответ и вроде бы не обиделась.

Дело в том, что Буллок, при всей своей очевидной — для меня и Бетти Уайт — неказистости, периодически входит в списки самых красивых женщин, так что совершенно точная характеристика, данная ей Бетти Уайт (в духе толстовской княгини Мягкой), вполне могла сойти за иронию.

Ядовитость отзыва Бетти Уайт обезвреживается не только его предположительной ироничностью, но и полной убежденностью американцев в том, что красота, как и любые другие достоинства, дело наживное и каждый(ая) может, приложив соответствующие усилия, достигнуть всего, чего захочет, — стать миллионером, президентом, художником, поэтом, красавицей. Такова, в конце концов, суть демократии, американской мечты и политкорректности. Что в пределе, конечно, ведет в сумеречную зону.

На ум закономерно приходит советская параллель:

Добродетель <…> восторжествовала. Красивых девушек перестали брать на работу в кинематографию. Режиссер мыкался перед актрисой, не решался, мекал:

— Дарование у вас, конечно, есть… Даже талант. Но какая-то вы такая… с физическими изъянами. Стройная, как киевский тополь. Какая-то вы, извините меня, красавица. <…> Одним словом, в таком виде никак нельзя. Что скажет общественность, если увидит на экране подобное?

— Вы несправедливы <…>, — говорила актриса, — за последний год (вы ведь знаете, меня никуда не берут) я значительно лучше выгляжу. Смотрите, какие морщинки на лбу.

Даже седые волосы появились.

— Ну что — морщинки! — досадовал режиссер. — Вот если бы у вас были мешки под глазами! Или глубоко запавший рот. Это другое дело. А у вас рот какой? Вишневый сад. Какое-то «мы увидим небо в алмазах». Улыбнитесь. Ну так и есть! Все тридцать два зуба! Жемчуга! Торгсин! Нет, никак не могу взять вас. И походка у вас черт знает какая. Грациозная. Дуновение весны! Смотреть противно!

Актриса заплакала.

— Отчего я такая несчастная? Талантливая — и не кривобокая?

— В семье не без урода, — сухо заметил режиссер. — Что ж мне с вами делать? А ну, попробуйте-ка сгорбиться. Больше, гораздо больше. Еще. Не можете?… (Ильф и Петров, «Саванарыло», 1932).

Главная беда тут не в том, что кого-то несправедливо затирают, а кого-то незаслуженно продвигают, — всякое бывает. Опасность — в систематическом поощрении отказа отличать красоту от посредственности, что может привести к отмиранию (на уровне культурного кода) самой различительной способности. К сожалению, глагол discriminate, «различать, проявлять тонкий вкус, быть пристрастным, дискриминировать», и его производные ассоциируются теперь прежде всего с расовой дискриминацией и тем самым теряют престижность.

Разумеется, подспудно различие между красотой и ее отсутствием все-таки ощущается, и ее контраст с уродством может обыгрываться — при условии, что вещи не называются своими именами.

Вспоминается один эпизод из недолгой карьеры замечательного актера Чарльза Гроудина (р. 1935) — я особенно люблю его дуэт с Робертом де Ниро в «Midnight Run» («Успеть до полуночи», 1988) — в роли ведущего на собственном ток-шоу (1995–1998). Его гостьей была тогда Руфь Уэстхаймер, более известная в американских СМИ как просто доктор Рут (http://en.wikipedia.org/wiki/Ruth_Westheimer).

Ruth Westheimer (в девичестве Karola Ruth Siegel) родилась в Германии (1922). В 1939 году ее родителей арестовали, и они погибли в лагере, Рут же была переправлена в Швейцарию, а после войны эмигрировала в Палестину, где воевала разведчицей и снайпером в боях за независимость Израиля (1948); была ранена. В дальнейшем она окончила Сорбонну, стала психиатром, автором многих книг и телевизионной знаменитостью; была трижды замужем. Ну что д-р Рут не красотка, доказывать, кажется, не надо, но примечательно, что ее телевизионная слава

связана целиком и исключительно с ее амплуа главного специалиста по вопросам эротики и секса, своего рода д-ра Фрейда для бедных. И здесь ее неавантажная внешность (она к тому же недомерок, всего метр сорок ростом) играет ключевую роль — лишая эротической непосредственности ее разглагольствования о необходимости безопасного секса. Особый шик ее речам придает густой еврейский акцент, удостоверяющий ее как бы венские корни, но в то же время комически выпячивающий и тем самым смягчающий громогласное озвучивание с экрана таких интимных по существу понятий, как эрекция, презерватив, пенетрация, оргазм и др.

В тот вечер она была в ударе и не переставая восхваляла прелести совместного ОХГЭЗМА, разъясняла способы его достижения, но всячески предостерегала против легкомысленного пренебрежения противозачаточными средствами, в особенности презервативами.

Д-р Р у т. Я всегда говорю молодым людям, что они всегда должны надевать (wear, букв, «носить) презерватив (condom)! Что вы смеетесь?

Ч.Гроудин. Я вовсе не смеюсь.

Д. Р. Вы смеетесь, потому, что вы не относитесь серьезно к тому, что я говорю.

Ч. Г. (сдерживая смех). Я отношусь серьезно…

Д. Р. Не смейтесь. Вы должны всегда носить (wear) презерватив.

Ч. Г. Я всегда… Собственно, я и сейчас в нем…

Потрясающая последняя реплика Гроудина — Actually, I am wearing one right now — плохо поддается переводу. Глагол „носить, быть одетым в“ выделяется в этой фразе своей ощутимой конкретностью на фоне совершенно служебных остальных слов: I, „я“, now, „сейчас“, и особенно one, букв, „один“, значение которого гораздо более абстрактно, алгебраично и потому эвфемистично, чем русские „он, в нем“.

Прием внезапного перехода на личности, в частности на рискованные факты собственной личной жизни, применяется в подобных ток-шоу нередко. Помню, как Сибилл Шеперд (р. 1950) — вот уж действительно красавица, — будучи спрошена ведущим об Элвисе Пресли (1935–1977), с которым у нее в начале 70-х был роман и от которого она ушла из-за его неуемного обжорства и наркомании, бойко прочирикала:

— Все знают, что он к концу жизни очень потолстел. Он любил поесть. Он ел всё. Кроме одного. Пока не познакомился со мной (…But there was one thing he wouldn't eat. until he met me).

Наглая заявка на приоритет в обучении видавшего виды

сорокалетнего Пресли куннилингусу (вызвавшая в прессе и в блогосфере протесты других любовниц Короля) изящно упакована здесь в почти невинный каламбур на слове eat, „есть“, которое в разговорном английском служит простым, как правда и как кусок хлеба, глагольным обозначением этой утонченной услады. Русское „лизать“ к такому не располагает — его каламбурные возможности клонятся в сторону какого-то ненужного жеманства, ср.:

Мне сказала Анжелика:
— Полежи-ка, полежи-ка! —
Я не понял эту речь:
Полизать или прилечь?

Так или иначе, в устах Сибилл Шеперд это прозвучало очень соблазнительно, как пряная, ну, может, немного преувеличенная, эротическая похвальба, слегка окутанная дымкой времени. Вуаёрски проникнуть, пусть в отчужденно посмертном режиме телешоу, в спальню пусть нескромной красавицы Сибиллы и пусть располневшего короля рока всех времен и народов, — одно дело. Совсем другое (несмотря на сходство местоименных иносказаний, ср. one thing и wearing one) — эротический театр абсурда, разыгранный Гроудином.

Тут все нелепо и все великолепно. И мгновенность реакции — в духе сказочной формулы: „Встань передо мной, как лист перед травой!“, внезапного вытаскивания кролика из шляпы фокусника и английского риторического оборота: As we speak… „Пока мы [здесь об этом] говорим [все именно так и совершается]“. И загадка предварительного надевания презерватива (без ЭХЭКЦИИ? благодаря постоянной ЭХЭКЦИИ?) с последующим длительным сидением в нем. И уморительная невероятность вожделения к единственному наличному партнеру — уродливой старой карлице… Причем все это прямо здесь и сейчас, в реальном времени, у нас на глазах, — а впрочем, кто знает, ничего такого нам не показывают, одни слова, слова, слова… И держится все на полнейшей эротической непрезентабельности докторши.

Закончить хочется на счастливой ноте. У кого на шоу Сибилл Шеперд сделала свое сенсационное заявление, я не установил, но точно, что не у Гроудина. Вообще, она его сначала недолюбливала — была недовольна работой с ним на съемках фильма „The Heartbreak Kid“ (1972). И лишь через какое-то время однажды все-таки согласилась ему отдаться.

Есть фото, где они вместе, уже порядком постаревшие, но все еще ничего (www.life.com/image/83081346).»

Из истории звукозаписи

Задолго до изобретения соответствующей аппаратуры возможность сохранения и воспроизведения такой, казалось бы, мимолетной сущности, как звук, волновала воображение.

Всем, особенно русским читателям, знакомо вот это место из «Приключений барона Мюнхгаузена» Бюргера-Распе:

Я напомнил кучеру о том, что нужно протрубить в рожок, иначе мы рисковали <…> столкнуться со встречным экипажем. <…> Парень поднес рожок к губам и принялся дуть в него изо всей мочи. Но все старания его были напрасны: из рожка нельзя было извлечь ни единого звука <…>

На постоялом дворе <…> кучер повесил свой рожок на гвоздь подле кухонного очага, а я уселся напротив него. <…> Внезапно раздалось: «Тра! Тра! Та! Та!» Мы вытаращили глаза. И тогда только мы поняли, почему кучер не мог сыграть на своем рожке. Звуки в рожке замерзли и теперь, постепенно оттаивая, ясные и звонкие, вырывались из него <…>

Этот добрый малый значительное время услаждал наш слух чудеснейшими мелодиями, не поднося при этом своего инструмента к губам. Нам удалось услышать прусский марш, «Без любви и вина» <…> и еще много других песен, между прочим <…> «Уснули леса…». Этой песенкой закончилась история с тающими звуками, как и я заканчиваю здесь историю моего путешествия в Россию.

А в записных книжках князя П. А. Вяземского есть такой фрагмент:

Англичане роман рассказывают, французы сочиняют его; многие из русских словно переводят роман с какого-нибудь неизвестного языка, которым говорит неведомое общество. Гумбольдт (разумеется, шутя) рассказывает, что в американских лесах встречаются вековые попугаи, которые повторяют слова из наречий давно исчезнувшего с лица земли племени. Читая иные русские романы, так и сдается, что они писаны со слов этих попугаев.

Выдумка про замороженные звуки, конечно, изощреннее, зато Вяземский не ограничивается привычным звукозаписывающим эффектом гумбольдтовского попугая (при всей оригинальности выступления последнего в роли полевого лингвиста) и пристраивает к нему второй аналогичный прибор: русский роман начала XIX века. Но, что характерно, чудесная консервирующая сила настойчиво — тщанием будь то иноплеменных фантастов или отечественного виньетиста — ассоциируется с Россией.

Неизданный Вознесенский

Эта виньетка, понятно, посмертная, но не злобная (из числа дожидающихся своего часа), а довольно беззубая, ну и слегка тщеславная — в жанре «И я там был…».

Смолоду, на рубеже 60-х, я увлекался Вознесенским, ходил на его выступления (одно было прямо у нас в Инязе), любил читать его стихи наизусть, подражая характерным «Вознесенским» интонациям и блатновато палатализованному — ж- (Пажжар в Архитектурн-аам-ъ, па залам-ъ, ээтажжаам-ъ…; Бьют жженщину-а, блестит белок…) и предпочитал его его собрату-сопернику, — хотя мой обожаемый учитель ставил Евтушенко выше, как идейно более ценного. У меня были его первые книжки, в том числе кубистически оформленная Володей Медведевым «Треугольная груша» (1962), при отъезде в эмиграцию кому-то отданная… Но лично знаком я с ним не был.

Знакомство состоялось три десятка лет спустя, под знаком Пастернака — в год столетнего юбилея. Состоялось оно в два приема, сначала — чисто формальное, потом немного более серьезное, увенчавшееся вручением книги стихов с автографом, после чего никак не продолжалось, а теперь и не имеет шансов продолжиться.

В 1990-м я приехал в Москву уже в третий раз после перестройки, жил у папы на Маяковской и вообще чувствовал себя как дома. Тем же летом предстояла пастернаковская конференция в Оксфорде, доклад к которой я срочно дописывал на только что купленной портативной, но довольно тяжелой, около 4 кг, «Тошибе». В Москве у меня выступлений не было, зато была коллективная поездка на кладбище в Переделкино (в автобусе я познакомился с Даниилом Даниным), а перед этим — юбилейное заседание в Доме литераторов на Герцена.

Я явился в назначенное время, был — без пропуска и билета, а потому с чувством глубокого постсоветского удовлетворения — впущен внутрь и понял, что пришел слишком рано. В огромном светлом вестибюле не было никого, кроме еще троих, таких же, видимо, как я, зануд, всегда приезжающих заранее.

У стены, противоположной входу, стоял Вознесенский, весь в белом. Он любезно, но отчужденно мне улыбнулся — большего мне и не полагалось. Я ответил почтительным поклоном.

Немного поодаль от него, ближе к вешалке, я увидел моего давнишнего знакомого Борю Жутовского. Он был приятелем моего троюродного старшего брата и даже присутствовал на нашей с Ирой свадьбе (1958). Помню это потому, что на другой

же день поехал к нему покупать шведский книжный шкаф. Створка нижнего ящика оказалась без стекла, я спросил, как же так, Боря сказал: «Понимаешь, был такой момент, что было, в общем-то, не до стекла». Зубные — т- и — д- он произнес на свой щегольской манер очень альвеолярно, почти церебрально, почти как — р-, так что картина в моем воображении нарисовалась вполне его извиняющая, и условленную сумму я отдал целиком. Боря был лихой богемщик, ездил по всей стране, держался бывалым знатоком жизни («У меня на Алтае есть один старик…») и в 62-м не спасовал перед пьяным Хрущевым во время разгрома выставки абстракционистов в Манеже. Я узнал его издали, а подойдя, был поражен переменами в его лице, — оказалось, что это след автокатастрофы (жена погибла, он выжил). Мы не виделись больше десяти лет, разговорились.

Третьим в пустынном холле был Синявский. С ним я познакомился сравнительно недавно, причем именно в связи с Пастернаком — на симпозиуме в Иерусалиме (1984). С тех пор я печатался в «Синтаксисе» и бывал у них в Фонтене-о-Роз, но в Москве мы встретились впервые — с некоторым эмигрантским кайфом.

Между тем вестибюль стал наполняться, с Синявским кто-то заговорил, и я отошел в сторону. Но, по-видимому, знакомство с двумя знаменитостями уже отбросило на меня свой харизматический отблеск, заработал механизм имитационного желания (it’s not what you know, it’s who you know!..[8]), и я увидел, что ко мне направляется Вознесенский, с широкой улыбкой и щедро протянутой рукой, как сейчас помню, повернутой ладонью вверх, как если бы он нес ее на подносе, как хлеб-соль (не то что Маяковский, протягивавший иным один палец). Руку я пожал, представился, засвидетельствовал почтение, и на этом все пока что кончилось.

В Оксфорд мы отправились вдвоем с тем временем подъехавшей Ольгой и начали с того, что прокатились на машине по Англии, нервно управляясь с левосторонним управлением. На конференции было много интересного, и кое про что я уже писал. Но кое-что осталось в загашниках памяти и может быть рассказано теперь.

На юбилейную конференцию съехалась разнообразная публика из России, Европы и Америки, включая людей, так или иначе близких к Пастернаку (его сына Евгения Борисовича с женой Аленой, моего учителя

В. В. Иванова и Андрея Вознесенского, которому я теперь предстал в магическом ореоле спутника самой Ольги Матич), и широкий круг пастернаковедов всех возрастов и политических,

научных и сексуальных ориентаций, от 73-летнего красавца шведа Нильса Оке Нильссона (1917–1995), в свое время сыгравшего роль в присуждении Пастернаку Нобелевской премии, до сравнительно молодой пары американских исследовательниц-лесбиянок, Дайаны Бёрджин и Кэтрин О'Коннор (из которых первая отличалась тем, что писала свои статьи стихами, а вторая была автором недавней книги комментариев к «Сестре моей — жизни»),

О Пастернаке говорилось много разного — толкового и нелепого, философского и текстологического, структуралистского и биографического, интертекстуального и психоаналитического, — и часто после очередного доклада вставал шокированный услышанным Евгений Борисович и обескураживающе пастернаковским голосом, так сказать не тронутым распадом, пропевал приблизительно следующее:

— Оучень, оучень интересно… Но на самом деле всёо было горааздо проще… Просто за окном был клёон, и, глядя на него с больничной койки, папочка думал…

Ему никто не возражал, это стало как бы ритуальным моментом каждого заседания. Говоря никто, я имею в виду никто, кроме Алёны (кстати, моей сокурсницы), которая иногда тихо тянула его за руку, пытаясь остановить, и, конечно, меня. В баре, где иностранных гостей угощали за счет устроителей, я, накачавшись даровым пивом, стал, на правах старого знакомого, объяснять Е. Б., что суть столетней вехи и мировой славы как раз в том и состоит, что Пастернак больше не принадлежит своей семье, своему городу, стране, языку, культуре, что он стал предметом глобального потребления и контролировать этот процесс не нужно и невозможно. Не знаю, это ли подействовало или, может быть, домашние нашептывания Алены, но месяцем позже, на не менее представительном симпозиуме в Стэнфорде, созванном Флейшманом, Е. Б. уже никого не поправлял, принимая все происходящее как должное.

Свой доклад я читал с экрана «Тошибы», что было тогда внове. Отчасти это диктовалось отсутствием у меня в Москве принтера, отчасти, конечно, всегдашней готовностью при случае выпендриться и забежать вперед прогресса. На батарейки я не понадеялся, и через сцену были протянуты длинные шнуры, о которые я же и спотыкался. Хенрик Бирнбаум (ныне давно покойный) спросил меня, что будет, если погаснет электричество, я в ответ спросил, что будет, если во время его доклада по-пастернаковски распахнется окно и его бумажки унесет ветром…

Однако главным моим хитом стал не доклад (http://www-bcf.usc.edu/ ~alik/rus/ess/bib93.htm) и не номер с компьютером, а

выступление в прениях по докладу Нильссона. Нильссон говорил о стихотворении «Воробьевы горы» (http://lighthouse.nsys.by/lib/russian/pasternak/stihi.shtml#0076) и роли в нем водного символизма[9]. У меня давно имелись собственные, более радикальные идеи по поводу этого стихотворения, и я счел момент удобным, чтобы их озвучить. То есть, прежде чем вылезать с этим на публику, я все-таки десять раз провел языком по нёбу, как рекомендовал, кажется, Тургенев, потом досчитал до десяти еще раз и только тогда поднял руку. Свою мысль — о движении сюжета от бурной фаллической радости бытия (*…лето бьет ключом*) к страху перед старческой импотенцией (*Рук к звездам не вскинет ни один бурун*), а затем к приятию веры во всемогущий мировой эрос, источаемый провидением (*Так на нас, на ситцы пролит с облаков*) (http://www-bcf.usc.edu/~alik/rus/book/inven/erot83.htm), — я изложил с места, кратко, по-русски и с многочисленными реверансами в сторону Нильссона, вполне искренними, поскольку водный символизм задействован в этом сюжете систематически.

Короля играет свита. Моя реплика могла бы пройти незамеченной: ну сказал и сказал, еще одна дикая идея — just an opinion, как говорил Владимир Горовиц. Но не тут-то было. Послышались, с одной стороны, голоса протеста, а с другой — жалобы, что не слышно. Председательствовавший Бирнбаум попросил меня выйти к микрофону и повторить все по-английски, поскольку среди присутствовавших были и не владеющие русским (в частности, его собственная жена Марианна и жена Нильссона). Просить меня дважды не пришлось, я вышел на авансцену и сделал по-английски небольшой докладик, минут на десять.

Это, конечно, требовало, по добрым советским традициям, отпора, и отпор был дан, но на этот раз не Евгением Борисовичем (которому опровергать сексуальный drive собственного отца было как-то не с руки), а моим учителем, никогда не упускавшим случая подчеркнуть, как близок он был к Пастернаку (и в дальнейшем рассорившимся с Е. Б. на этой почве). Сакраментальный зачин «На самом деле все было гораздо проще…» произнесен не был, но формат выступления был именно таков.

— Дело в том, что Борис Леонидович очень любил мыться, — начал В. В. с обезоруживающей улыбкой. — Я довольно хорошо знал Бориса Леонидовича и мог часто наблюдать его на даче, мы были соседями. Так вот, он очень любил мыться и после работы в саду охотно ополаскивался из рукомойника.

Это и отражено в первой строке «Воробьевых гор»: Грудь под

поцелуи, как под рукомойник…

— А рукомойник был с таким длинным железным стержнем с набалдашничком? — перебил я и показал, как этот стерженек подбивают вверх рукой, чтобы пустить струйку воды.

В публике зафыркали, кто-то стал просить слова, но Бирнбаум поспешно объявил заседание закрытым. Дискуссия продолжилась в кулуарах. Иванов даже наорал на меня при небольшом стечении народа во дворе (и до сих пор пожинает плоды этого). Некоторые упрекали: как я мог сказать такое в присутствии Нильссона и его жены, которая вдвое моложе него?!. Другие, наоборот, поздравляли, особенно подружки-лесбиянки, видимо усмотревшие в моей акции, несмотря на ее неприкрытый фаллоцентризм, смелый шаг вперед в борьбе за сексуальную революцию в славистике.

В тот же день — последний день конференции — ко мне подошел ее организатор Крис Барнз, пожаловался, что ему надо ненадолго уехать по делам, и попросил заменить его в роли председателя на заключительном заседании.

— Но я уже попредседательствовал, — сказал я.

— У вас очень хорошо получается держать ваших соотечественников в рамках регламента…

— Ладно, давайте список и титулы докладчиков.

— Вам принесут. — С этими словами он уехал.

Список мне принесли, и я обнаружил в нем Вознесенского. Я понял, какую свинью подложил мне Крис, но отступать было поздно. Обдумав ситуацию, я решил прибегнуть к обходному маневру. Я разыскал Вознесенского, который как раз прогуливался по саду с Ольгой, дождался, когда они закончат, и обратился к нему с такой речью:

— Андрей Андреевич, мы с вами недавно познакомились в Москве, но я часто бывал на ваших давнишних концертах. Помню, в частности, концерт в Лужниках, где вас, Ахмадулину и Евтушенко не выпускали на сцену все первое отделение, а вместо этого публику развлекал конферансье Борис Брунов… Так вот, меня тут назначили начальствовать над вами. Поймите меня, пожалуйста: регламент у выступающих ровно 20 минут, для научного доклада этого достаточно, потом становится просто скучно, и моя роль — щелкать кнутом, заставлять уложиться, а то и просто останавливать. Но быть душителем поэзии мне как-то не в жилу. Давайте сделаем так. Устроим два отделения: сначала академическое, с регламентом, потом небольшой перерыв, а после него — вы, уже без регламента, и выступайте сколько хотите, будут просить на бис — можно на бис, тем более что заседание последнее, спешить некуда.

— Да нет, — отвечал поэт. — Я ведь и сам старый формалист, технарь, выпускник Архитектурного. У меня все рассчитано — я уложусь в 20 минут, как все, это ведь не концерт, я понимаю. Так что душить меня вам не придется.

Делать было нечего, я лишь поставил его выступление в конец.

Это был, конечно, не научный доклад, а небольшое аудиовизуальное шоу. На больших щитах он развесил кубистического типа постеры, каждый из которых нес то или иное слово, составленное из букв, входящих в имя поэта, — как в детской игре в слова. Там были: СТРАНА, РЕКА, СТЕНА, ВЕНА, РАНА, КРЕСТ, ВЕРА… Мы с Эрикой Гребер, немецкой слависткой и моей сопредседательницей, разговорились на пастернаковедческие темы и отвлеклись, но я все время посматривал на часы и иногда немного вслушивался. И вдруг заметил, что в слове ПАСТЕРНАК нет буквы В!

— Откуда он взял В? — спросил я у Эрики.

— И правда…

— А-а, вот и предлог задать вопрос докладчику, — порадовался я.

Тем временем Вознесенский под аплодисменты закончил свое выступление — вовремя. Я поблагодарил его, предложил задавать вопросы, их не было, и тогда я задал свой:

— Андрей Андреевич, очень интересно. Но вот что я заметил. В словах ВЕНА, ВЕРА и некоторых других у вас используется буква В, которой в фамилии ПАСТЕРНАК ведь нет. Не следует ли нам как исследователям констатировать тут некое подспудное присутствие лирического «я» поэта, фамилия которого начинается как раз с этой буквы?

— Да нет, вы, наверно, прослушали: я исхожу не просто из фамилии ПАСТЕРНАК, а из слов ВЕК ПАСТЕРНАКА, ключевых для нашей встречи.

— А, простите, действительно прослушал. Но, знаете, мы, литературоведы, с трудом отказываемся от своих интерпретаций. Позвольте переформулировать гипотезу. Что, если дорогая вам буква В повлияла на самый выбор темы ВЕК ПАСТЕРНАКА…

Вознесенский великодушно улыбнулся. В дальнейшем он переработал свой этюд и включил его в книгу «Видеомы».

…У читателя возникает законный вопрос: так ли все это было?

Ну, речи участников я передал своими словами, постарался быть точным, но, конечно, это не документ. Свидетели же постепенно вымирают, да и они не надежнее меня. Но одно бесспорное доказательство у меня есть — инскрипт на книжке, подаренной мне Вознесенским, с изящно эротизированным В:

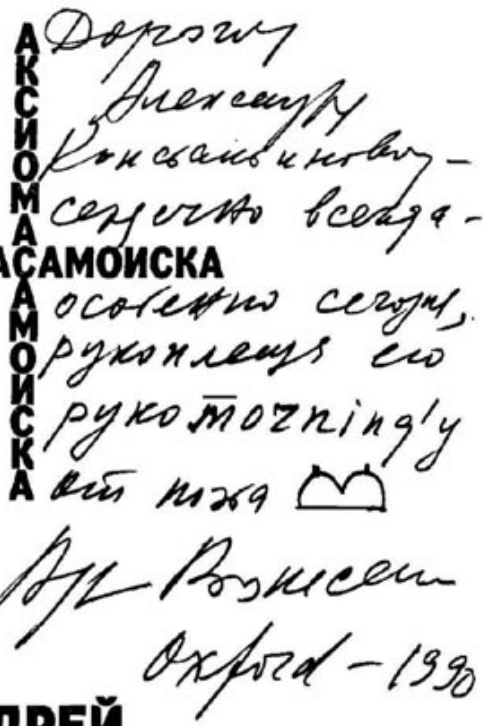
Андрей Вознесенский. Аксиомасамоиска.

М: СП «ИК.ПА», 1990.

Дорогому Александру Константиновичу — сердечно всегда — особенно сегодня, рукоплеща его pyicomorning'y от поэта В.

Андр. Вознесенский. Oxford — 1990.

АКСИОМА САМОИСКА



АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

СП «ИКПА» 1990 г.

Имя-отчество как таковое

Дайте мне одну кость, и я восстановлю животное.

Жорж Кювье

Ничто этого не предвещало. Оно прогремело среди ясного неба, нет, подкралось тихой сапой, да нет, собственно, и не подкралось, а просто безо всякого предупреждения вдруг оказалось уже произнесенным, причем так естественно, по-домашнему уютно, настолько само собой разумеясь, что, кажется, кроме меня, никем вообще и не было услышано. Или почти никем — как минимум одна свидетельница у меня есть.

Ожидать такого, повторяю, не приходилось. Шла вторая половина 2000-х. На конференцию по русскому авангарду в одну из европейских столиц съехался цвет мировой славистики — народ в основном продвинутый. Я не мог поверить своим ушам. Тем более что никаким розыгрышем тут не пахло. Это был, что называется, момент истины. Правда жизни сама, по собственной воле, с неожиданной щедростью и во всей своей наготе раскрылась желающим.

Невероятное признание, слетевшее с уст одной российской участницы, прозвучало не в ударном месте доклада — не в заглавии и не в концовке, да и вообще не в докладе, а в реплике на чей-то вопрос, кажется, даже по поводу не ее выступления, а чьего-то еще. Целиком я ее слов не запомнил — только самое главное. Оно того стоило. Прозвучало нечто вроде «Это стихотворение очень нравилось Владимиру Ильичу» или, может быть, «Владимир Ильич очень любил это стихотворение», или«… этот плакат», или«…эту статью». Не помню. Но за «Владимира Ильича» ручаюсь головой.

Сюжет, в общем-то, типа того анекдота, в котором жена, застигнутая с любовником, говорит разгневанному мужу: «Не тронь его — он Ленина видел». Но эффект был много сильнее, и я вот уже три года как о нем размышляю.

Дело, думаю, в том, что я оказался втянут в действие мощной архетипической конструкции. Впечатление было как от нечаянного заглядывания в чужую квартиру — как если бы дверь вдруг открыла служанка в совершенном дезабилье, а в глубине виднелась спальня, в которой… ну и так далее. Впрочем, гривуазные параллели необязательны — диапазон аналогий гораздо шире. По хрестоматийному определению Карла

Сэндберга, «поэзия — это открывание и закрывание двери, предоставляющее зрителям гадать, что промелькнуло перед ними».

Вспоминаются: пушкинский цветок засохший, безуханный, забытый кем-то в книге и вызывающий разнообразные догадки о том, к чему он мог быть причастен; аналогичная лермонтовская ветка Палестины; оттаявшие звуки почтового рожка в одном из русских приключений барона Мюнхгаузена; блоковская пылинка дальних стран; судьбоносные для бунинской героини слова о легком дыхании из старинной книги ее детства, всплывающие в разговоре с одноклассницей, а после смерти героини — в памяти ее учительницы; треуголка великого лицеиста и растрепанный том Парни, всего лишь столетие назад лежавшие среди мшистых пней царскосельского парка и таким образом связывающие нас с ним в стихотворении Ахматовой; клоп (поскольку речь об авангарде), обнаруживаемый учеными коммунистического будущего (в 1979 г.) на теле размороженного ими персонажа в пьесе Маяковского, и другие подобные манифестации механизмов культурной памяти.

Аналогичные построения применяются и в больших повествовательных жанрах, в частности в историческом романе. В «Капитанской дочке» читателю 1830-х годов предлагались записки Гринева о временах пугачевщины (1770-е годы), и в эпилоге сообщалось, что «в одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке… к отцу Петра Андреевича… — оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова». Интервал в 60 лет, позволяющий по цепочке непосредственных человеческих связей заглянуть в «доступное прошлое» (visitable past, в формулировке Генри Джеймса, так построившего «Письма Асперна»), был задан уже в заглавии первого романа Вальтера Скотта «Уэверли, или Шестьдесят лет назад»; он же налицо в «Войне и мире». Примеров множество, хотя, разумеется, длина интервала может колебаться. Эта конструкция спародирована у Зощенко — в юбилейной речи управдома, вычисляющего, кого из его предков мог запросто брать на ручки Пушкин, а кто из них, наоборот, предположительно качал и нянчил поэта.

Особенно пикантны и филологически любопытны, конечно, истории, в которых из глубин прошлого до нас доносятся — во всей своей не тронутой временем свежести и мгновенно опознаваемой достоверности — именно словесные сигналы.

Один старший коллега рассказывал, как во время лекционной поездки в Венгрию его поселили у моложавой вдовы, сдававшей комнаты приезжим. Услышав, что гость из России, она

похвасталась, что знает несколько русских слов, привезенных мужем с завьюженного Восточного фронта.

— Хе-леб, мала-ко, йай-ка… — произнесла она с деревянной правильностью, — и еще одно очень странное слово, только он его не переводил.

— ??

— Щии-КОТ-наа, — старательно пропела вальяжная венгерка, и в ее облике на мгновение проступили черты какой-то вертлявой рязанской хохотушки времен поистине des neiges d'antan. — Хоть вы скажите мне, что это такое?

Однако вернемся к нашей истории. Тетенька была не первой молодости, но отнюдь не старуха, так что скорее всего она не застала не только Владимира Ильича, но и Иосифа Виссарионовича, — разве что самый чуток. Поэтому ее короткость с Владимиром Ильичом не надо понимать слишком буквально; сама она его не видела и претендовать на это не собиралась. Но дверь, внезапно распахнутая ее бесхитростной репликой, вела в обычно закрытые от внешнего глаза кельи ее Института (архив Максима Горького? отдел Демьяна Бедного? сектор Ивана Бездомного?), где покойник десятилетиями поминался с той неповторимой смесью подобострастия и интимности, о которой сегодня могут дать лишь отдаленное представление произносимые с сакральным придыханием имена — кем Анны Андреевны, кем Надежды Яковлевны, а кем и Лидии Корнеевны.

Напрасно вы тогда…

В рассказе одного моего любимого писателя — о том, как в конце 30-х годов его отца высылают из страны за иностранное происхождение (рассказ так и называется, «Отец») и семья сдает комнату некоему припадочному интеллигенту, который сначала платит, потом перестает платить, но не съезжает и пытается комнату оттяпать, — есть характерный металитературный пассаж:

В это время я заметил одну странную вещь. Я был единственный человек в нашей семье, которого квартирант стыдился. Увидев меня, он резко отворачивал голову, тогда как на других он просто не обращал внимания, хотя я был самым младшим. Навряд ли он подозревал, что я о нем когда-нибудь расскажу. Мне кажется, я смутно, но верно догадывался, в чем дело. Еще до того, как мы вступили в открытую войну, я иногда брал у него читать книжки. У него был огромный шкаф, наполненный разными чудесными книжками. То, что он делал, если и не противоречило тому, что делалось в жизни, противоречило тому, что было написано в этих книгах. Я это чувствовал, и он знал, что я это чувствую, и стыдился меня. Но он ошибался, тайну его падения знал и весь наш двор, хотя книг почти никто не читал, кроме детей.

Автор, как всегда, очень деликатен, но под сурдинку творит грозный суд над наперсниками разврата. С одной стороны, он еще пацан, в нем трудно заподозрить будущего литературного мстителя, догадка его лишь смутная, поведение же обидчика вроде бы обычное, постыдное на взгляд лишь одного-единственного мальчишки… С другой — автор, двоящийся между детской и взрослой ипостасями, на наших глазах осуществляет писательское возмездие, свидетельствуя от имени не столько своей семьи, сколько Литературы, носительницы вечных ценностей, разделяемых всеми — застенчивым преступником, мальчиком-книгочеем, воплощающим будущее, и народом, читающим если не в книгах, то в сердцах.

До какой-то степени правда торжествует даже на земле — семья, во главе с неукротимой матерью героя, в конце концов выигрывает судебную тяжбу; но отца мальчику увидеть больше не удается — тот так и умирает на чужбине. С повинным в этом главным Валтасаром всех времен и народов автор будет сводить морально-эстетические счеты всю жизнь, но для его неудачливого местного представителя ему хватает пары страниц. Тут ему везет, причем не только с решительной мамой и искусным адвокатом, но и с противником — на свою беду начитанным и потому втайне

совестливым. Недаром, поверженный, тот вызывает у автора минутную жалость.

В моем опыте образованность оппонента вовсе не гарантирует стыдливости. Читаешь его, слушаешь, что он вещает, смотришь, как ханжит, авгурствует, передергивает и цензурирует, и думаешь: боже мой, я же тебе пропишу все это по первое число — мало не покажется и пожаловаться, что вдруг, будет некому. Вроде бы те же книжки читал, про то же пишет, ходит в вельвете и джинсах, живет аж на Святой Земле, а типичный совок…

Закончу строками еще одного любимого автора, писавшего немного о другом, но по сути о том же:

> они и вправду очень жалки
> …….
> и пишут (и не из-под палки!)
> и пишут против красоты

Table talk

Яйцо — излюбленная тема пословичной мудрости. *Ab ovo* значит *с самого начала*; если вопрос слишком прост, он *не стоит выеденного яйца;* напротив, что появилось раньше, *курица или яйцо*, — неразрешимый парадокс.

Продолжать в таком духе можно долго, даже не обращаясь к золотой генитальной ветви этой мифологемы. Но я сосредоточусь на яйце как продукте питания, причем исключительно на сваренном не вкрутую яйце и способах его потребления, в частности его вскрытия, естественно предшествующего потреблению, и на особенностях соответствующего личного опыта.

Основополагающим в этой области является, конечно, конфликт между лилипутами и блефускуанцами, известный мне с детства, но, как выясняется, осмыслявшийся мной неправильно.

Мой завтрак, начиная с послевоенных лет и до недавних пор, когда в повестку дня встала диета, традиционно состоял из двух куриных яиц в мешочек. Женька Зенкевич пытался уесть меня, предлагая задуматься о количестве погубленных мной цыплячьих жизней, но безуспешно; да и теперь, в атмосфере самой трепетной заботы о правах животных, яйца многими числятся по вегетарианской части.

Ошибка же в интерпретации свифтовской контроверзы состояла в том, что я почему-то решил, что тупоконечниками были лилипуты, а остроконечниками — блефускуанцы. Сам я был (и остался) убежденным тупоконечником и, однако, полагал себя единомышленником лилипутов. Как показало недавнее обращение к тексту, я был неправ. Кстати, блефускуанцы-тупоконечники представлены у Свифта диссидентами (эзоповским аналогом изгнанных из Англии католиков), но получилось, что я, подсознательно взяв сторону оппозиционеров-эмигрантов, продолжал мысленно отождествлять себя с осмеянным в книге англиканским истеблишментом.

Так или иначе, я изо дня в день облупливал сваренное в мешочек (оппозиция «в мешочек/всмятку» — еще одна из важнейших в данном семантическом поле) легким ударом чайной ложки по тупому концу яйца и, очистив его от надбитой скорлупы, приступал к поеданию. Эта несложная, но все же деликатная процедура (надо ударить не слишком сильно, осторожно отделить скорлупу и тонкую пленку от белка, не дать желтку вытечь на «подъяичник»…) была отработана мной до автоматизма и казалась мне единственно возможной.

Так продолжалось многие годы, почти три десятка лет. Но в один прекрасный день мне было явлено откровение.

Это было году в 1970-м, во время привилегированного киноведческого семинара в каком-то из Домов творчества под Москвой, где показывали и обсуждали иностранные фильмы, еще не поступившие (а часто и не предназначенные к поступлению) в общий прокат. Оставляя в стороне биографические детали моего попадания в эту элитную компанию, перейду к главному. Я оказался за одним столиком с отдаленно знакомой мне молодой дамой (назовем ее Иришей), которой, как и мне, на завтрак подали вареные яйца; возможно, выбор был невелик, и их принесли всем.

Дама была маленького росточка, скорее некрасивая, но, видимо, избалованная и держалась с вызывающей уверенностью. Она долго не приступала к еде, развязно говорила что-то многозначительное и уже начинала меня раздражать, как вдруг, одним-единственным движением — небрежным и не то чтобы особенно ловким, — навсегда врезалась мне в память.

Почти не глядя на стоявшее перед ней яйцо, кое-как держа ложку в руке, продолжая разглагольствовать и обводить зал скучающим взором, Ириша, вместо того чтобы, аккуратно прицелившись, облупить яйцо сверху, немного расслабленно и даже как-то криво стукнула по нему ложкой сбоку, взяла неровно отбитую верхушку в руку и стала той же ложкой вычерпывать и отправлять в рот ее содержимое.

Эффект был сильнейший, и образ Ириши встает передо мной каждый раз, когда я ем яйца.

Пораженный альтернативным методом разделки яиц, явно принятым в лучших домах Бульварного кольца, иначе откуда бы такая высокомерная небрежность, приводящая на ум нарочито невнятный шепелявый выговор английских аристократов, я приступил к тренировкам по его освоению, а затем и усовершенствованию. Ложка — это, конечно, хорошо и даже шикарно, но много удобнее острый нож, позволяющий с хирургической точностью срезать намеченный сегмент.

Последнее время, убоявшись высокой калорийности желтков, я стараюсь ограничиваться белками, а по возможности вообще переключаюсь на перепелиные яйца, по слухам свободные от холестерина. Тут нож просто незаменим: он легко рассекает пегое яичко пополам, после чего в ход идет миниатюрная ложечка с мусульманским полумесяцем, подаренная знакомой специалисткой по персидской литературе. Но для вскрытия перепелиного — поистине лилипутского — яйца она, увы, не годится (хотя, кто знает, может быть, малогабаритная Ириша

управилась бы одной левой).

P. S. Задумавшись задним числом, как разделывали яйца герои Свифта, я еще раз перечел главу IV «Путешествия в Лилипутию». В русском переводе (А. А. Франковского) употреблен глагол разбивать, точно соответствующий to break английского оригинала. Мне почему-то всегда казалось, что подразумевается надбивание сверху, но, увы, причиной превращения лилипутов в остроконечников послужил случай, свидетельствующий о применении ножа.

Всеми разделяется убеждение, что вареные яйца при употреблении их в пищу испокон веков разбивались с тупого конца; но дед нынешнего императора, будучи ребенком, порезал себе палец за завтраком, разбивая яйцо означенным древним способом. Тогда император, отец ребенка, обнародовал указ, предписывающий всем его подданным под страхом строгого наказания разбивать яйца с острого конца[10].

То есть я опять попал впросак. Впрочем, как явствует из беглого опроса знакомых и из руководств по столовому этикету, в цивилизованном мире приняты оба способа — облупливание ложкой и срезание ножом, хотя, согласно некоторым источникам, в Германии, например, предпочитается ложка, а на нож могут посмотреть косо. Так что, возможно, я просто наследовал этой «немецкой» школе. Но есть и гипотеза, что к пользованию ложкой homo sovieticus вынуждался отсутствием в системе общепита ножей, которое диктовалось то ли простой экономией, то ли боязнью вооружить население. В противовес «безножевой» (как выразился полвека назад мой друг) советской цивилизации, западная выработала даже специальные яичные ножи и яичные ложки с зубчатыми концами для удобства надрезания скорлупы. Не отсюда ли Иришина ложка? (http://germanfood.about.com/od/breakfastanddinner/ss/soft-boiled-egg-how-to_7.htm)

И конечно, остается неясным, каким образом заход с острого конца должен был предотвратить опасность порезаться. Кстати, по-английски речь идет не об остром конце, а о меньшем {smaller), так что каламбура нет. Зато скрытая игра слов есть в невинной на первый взгляд фразе о порезанном пальце. Выражение cut one's finger, «порезать себе палец», имеет, как по-английски, так и по-русски, только буквальный смысл, но близкое к нему burn one's fingers, «обжечь (свои) пальцы», — идиома, означающая «обжечься / обжечь руки на чем-либо». Как поясняет в своих комментариях к «Гулливеру» Айзек Азимов, Генрих VIII (= император Лилипутии) «порезал себе пальцы», т. е. обжегся, на католицизме, когда оказалось, что развод с Екатериной Арагонской он может получить только от папы римского, а тот

ему отказал; он все равно развелся, но был за это отлучен от церкви и в ответ заменил католичество (тупые концы) англиканством (острыми).

notes

Примечания

1

«Удивительнее вымысла» (англ.) — название фильма 2006 г. (в русском прокате — «Персонаж»).

2

Прайвеси и ее тревоги (англ.).

3

Ю. К. Щеглов (1937–2009); посмертным изданием его трудов я занимаюсь совместно с его вдовой, В. А. Щегловой.

4

В начале 1960-х.

5

Лукницкий П. Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. 1924–1925 гг. Paris: YMCA, 1991, стр. 202; см. также: Черных В. А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. М.: Индрик, 2008, стр. 213.

6

Ключевский В. О. Лекция XXX. Характеристика царя Ивана Грозного. — Он же. Сочинения. Т. 2. Курс русской истории. Ч. 2. М.: Госполитиздат, 1957. С. 187–199. См. стр. 196, 198–199.

Там же, стр. 195–196, 198.

8

Дело не в том, что ты знаешь, а в том, кого ты знаешь (англ.).

9

Он вскоре опубликовал свой доклад: Nils Ake Nilsson. «It is the World's Midday»: Pasternak's «Sparrow Hills» // Russian Literature. 1992. XXXI. По следам обоих разборов К… М. Поливанов в дальнейшем проделал интертекстуальный анализ стихотворения, см.: «„Воробьевы горы“ Пастернака и традиция русского шестистопного хорея» // К. М. Поливанов. Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения. М.: Изд. дом ГУ — ВШЭ, 2006, стр. 207–223.

10

It is allowed on all hands, that the primitive way of breaking eggs, before we eat them, was upon the larger end; but his present majesty's grandfather, while he was a boy, going to eat an egg, and breaking it according to the ancient practice, happened to cut one of his fingers. Whereupon the emperor his father published an edict, commanding all his subjects, upon great penalties, to break the smaller end qf their eggs.